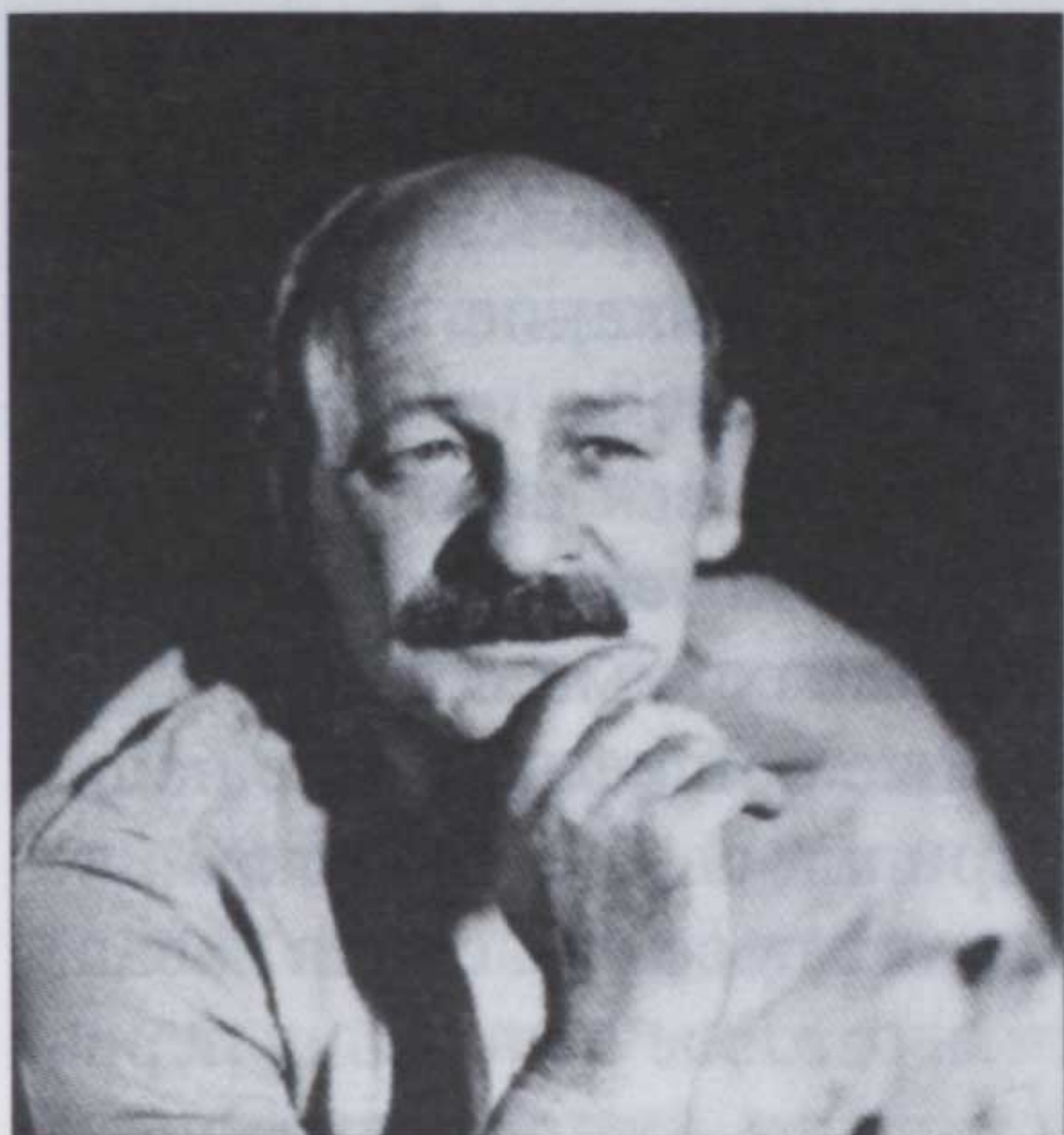


«Прочтите мне только по памяти...»

Леонид Андреевич Завальнюк

С Леонидом Завальнюком я познакомился лично в конце 60-х годов, когда мы вместе с ним и другими амурскими литераторами выступали на встрече с читателями в благовещенском Доме политпросвещения. Этот дом примыкал к теперешнему зданию областного краеведческого музея, в котором на ту пору был обком КПСС. Но заочное знакомство состоялось значительно раньше, когда еще школьником я прочитал в «Литературной газете» стихотворение Завальнюка «Снова стихами повеяло...». Оно, наряду со стихами других любимых поэтов, на долгие годы стало определяющим в моем понимании поэтического творчества. Особенно в атмосфере грядущих «застойных» лет, сменивших пору так называемой хрущевской «оттепели». Набившие оскомину лозунги, призывы и прочие волевые «императивы» словно бы отменялись напрочь строчками завальнюковского произведения, давали в затхлой демагогической атмосфере глоток свежего воздуха. С моими тамбовскими друзьями-одноклассниками Толей Дробязкиным, Лешей Селиверстовым и Толей Деревянко мы выучили наизусть это стихотворение, и оно стало нашим поэтическим «паролем». Особенно подкупала та часть стихотворения, где автор обращался к памяти любимого нами Сергея Есенина, цитируя строчки из его поэмы «Анна Снегина». С тех пор считалось знаком хорошего тона выучивать наизусть «десяток хороших строк» из каждой новой поэтической книжки, попадавшей в наши руки. Тем более что рядом с именем Завальнюка встали имена его сотоварищей по литературному цеху Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского и других, менее громких, но не менее талантливых «поэтов-шестидесятников». Особенно подкупало то разноголосие, которое буквально с лёту позволяло различать их в общем литературном «хоре». Мы явственно слышали спокойные обертоны поэзии Леонида Завальнюка, поскольку он был, несмотря на свое московское местожительство, все-таки наш, амурский — не по рождению, а по стартовой творческой «прописке». Это давало нам надежду на успех и своей мечты. А мечтали



Леонид Завальнюк. 1970-е гг.

мы о разном, но обязательно о высоком и ярком, чем впоследствии жизнь нас и одарила каждого по его мере и старанию.

Теперь собственно о самом интервью. Сделаю несколько пояснений, чтобы вам была понятней и ближе атмосфера, в которой интервью записывалось. В конце девяностых годов я на Амурском радио вел авторскую программу «Стезя». Эти были, пожалуй, одни из самых счастливых лет в моей журналистской биографии. Своих собеседников я выбирал сам, никто не диктовал их список, никакая

партийная власть не давила на психику при выборе тематики бесед. Это было то, что на молодежном сленге называется «кайф». Я долго не верил, что такое возможно, и постоянно твердил себе мысленно: когда-то эта вольготность кончится. И действительно, радиопрограмма «Стезя» просуществовала всего около трех лет, я успел подготовить сто семнадцать выпусков, заработать прочный высокий рейтинг слушательской популярности, и на том моя программа по произволу тогдашнего председателя ГТРК «Амур» почилла в Бозе.

Именно в ту пору я и встретился с Леонидом Завальнюком. В декабре 1997 года он приехал в Благовещенск погостить у своего друга Марка Гофмана. Мы договорились с Леонидом Андреевичем встретиться и поговорить у микрофона в домашней атмосфере, чтобы избежать студийной неуютности. В назначенный день и час мы сидели за столом в гостиной комнате, уставленной книжными шкафами. Я выложил перед Леонидом Андреевичем принесенные с собой сборники его стихотворений, которые снял с полки своей домашней библиотеки. Он оставил автографы на каждом из них, а затем мы приступили к разговору. Поскольку особенности жанра радиоинтервью диктовали свои законы, иной раз я был вынужден задавать вопросы, ответы на которые знал заранее из наших прежних бесед или иных публичных выступлений моего «визави». Приходилось учитывать и то обстоятельство, что не все из наших предстоящих слушателей были глубоко знакомы с творчеством Завальнюка. Для некоторой части молодежи это имя вообще звучало впервые, и это тоже надо было понимать.

И еще: переведенная в текстовой вид устная речь Завальнюка неизбежно потеряла свой фонетический колорит. Глуховатый спокойный голос поэта вы уже не ощутите, равно и его речевые повторы, усиливающие ту или иную мысль, паузы и даже дыхание. То же самое касается и просторечных выражений, которые я не то чтобы «причесал», но слегка поправил, чтобы в тексте они не выглядели заурядно простецкими. Но, поверьте, редакции в этом интервью не так уж и много, она вовсе не касается сути затрагиваемых нами вопросов.

И, наконец, на рабочей магнитной пленке общее звучание нашей беседы достигло около полутора часов. Пришлось кое-что сокращать едва ли не вдвое, чтобы выкроить минуты для песен на стихи Завальнюка. И все равно потребовалось разделить готовое интервью, первая часть которого прозвучала на «Вечернем канале» Амурского радио 23 декабря 1997 года, а окончание вошло в программу «Стезя» 26 декабря. Разумеется, для альманаха «Амур» я вновь объединил эти части.

— Леонид Андреевич, вот еще один год, 1997-й, подходит к концу. Конечно, у каждого человека сейчас пора подведения итогов в пути. Ваша первая книжка стихотворений так и называлась — «В пути». Вот она у меня в руках — маленького формата, в твердом переплете. На обложке рисунок — солнышко встает... На каком примерно отрезке пути сейчас и жизнь ваша, и солнышко? Начнем с этого года, а потом обратимся к более ранним годам.

— Да я как-то думаю всё об одном и том же... Когда я смотрю на эту книжечку «В пути», это первая моя книжка, которая вышла здесь, в Благовещенске, в 1953 году. Тогда, по сути, и началась моя творческая жизнь. А вот последняя книжка, которая издана в прошлом году, она называется «Беглец». Это итоги не итоги, но в подзаголовке значится: «Стихи разных лет». Сюда не вошли, конечно, стихи, которые были в первой книжке, «В пути». Потому что я очень молод был, и книжка была слабенькая. Но я с удовольствием на нее смотрю...

Из остальных книг, которые выходили и в Благовещенске, и в Хабаровске, и в Москве потом, в эту книжку «Беглец», конечно, стихи вошли. И вошли стихи, написанные в последние семь-восемь лет. Смотрю на своего «Беглеца», и вижу, что практически мало что меняется в моих устремлениях. О чем я старался писать ранее, о том я и теперь пишу. Пишу о любви, о человеческой близости. О земле пишу, потому что в этой теме заключено многое. Вот круг моих тем, он немудрящий, что называется. Но это явления очень крупные — и

любовь, и близость. Думаю, этих тем мне хватит до конца моих дней. Не собираюсь менять ни свою профессию, ни свою нравственную ориентацию. Как всё было, так оно и будет.

— *Ничего случайного в жизни не бывает. В том числе и в названиях даже книг. «В пути» понятно — это романтика молодости, это то советское время — стройки, энтузиазм созидания. В общем, некий пафос. А вот «Беглец»... В чем значение этого названия, если не секрет? Или вы это оставляете для расшифровки читателю?*

— Эту книжку я не знал, честно говоря, как назвать. И вообще с названиями книжек у меня дело плохо обстоит. Как доходит до этого, так я начинаю мучиться, перебирать варианты. По-первости эта книжка должна была называться «Молитва о доме». Почему «Молитва»? Потому что в ней заключены молитвенные мотивы. Я имею в виду не церковные молитвы, не «Отче наш», а просто мотив молитвенный, обращение пронзительное к чему-то, что может быть выше и дальше того, чем мы занимаемся в обыденности, что мы видим каждый день. Это обращение мне свойственно. Не знаю, насколько мне это удастся, но, во всяком случае, это именно так. Я уже было решил и хотел назвать ее именно так, как задумал, — «Молитва о доме». Но знаете, какие сейчас времена... Времена сейчас очень сложные! Сложные они и для поэзии в том числе. И, конечно, мне хотелось, чтобы эта книжка не просто лежала на прилавке книжного магазина, а ее кто-то купил, прочел... Мои друзья, я как раз был в ту пору в Польше, есть такой польский режиссер Ежи Гофман, мы у него гостили с женой, как-то в разговоре поинтересовались: «Что ты собираешься делать сейчас?» — Я ответил, что собираюсь выпускать книжку. — «А что там за стихи?» — Я почитал стихи. — «А как называться будет?» — Да будет называться «Молитва о доме». — «Почему «Молитва о доме»? Вообще сейчас все на религию накинулись, и туда ее суют, и сюда суют. Вот и твой религиозный мотив будет восприниматься как конъюнктурный. Нельзя так называть!»

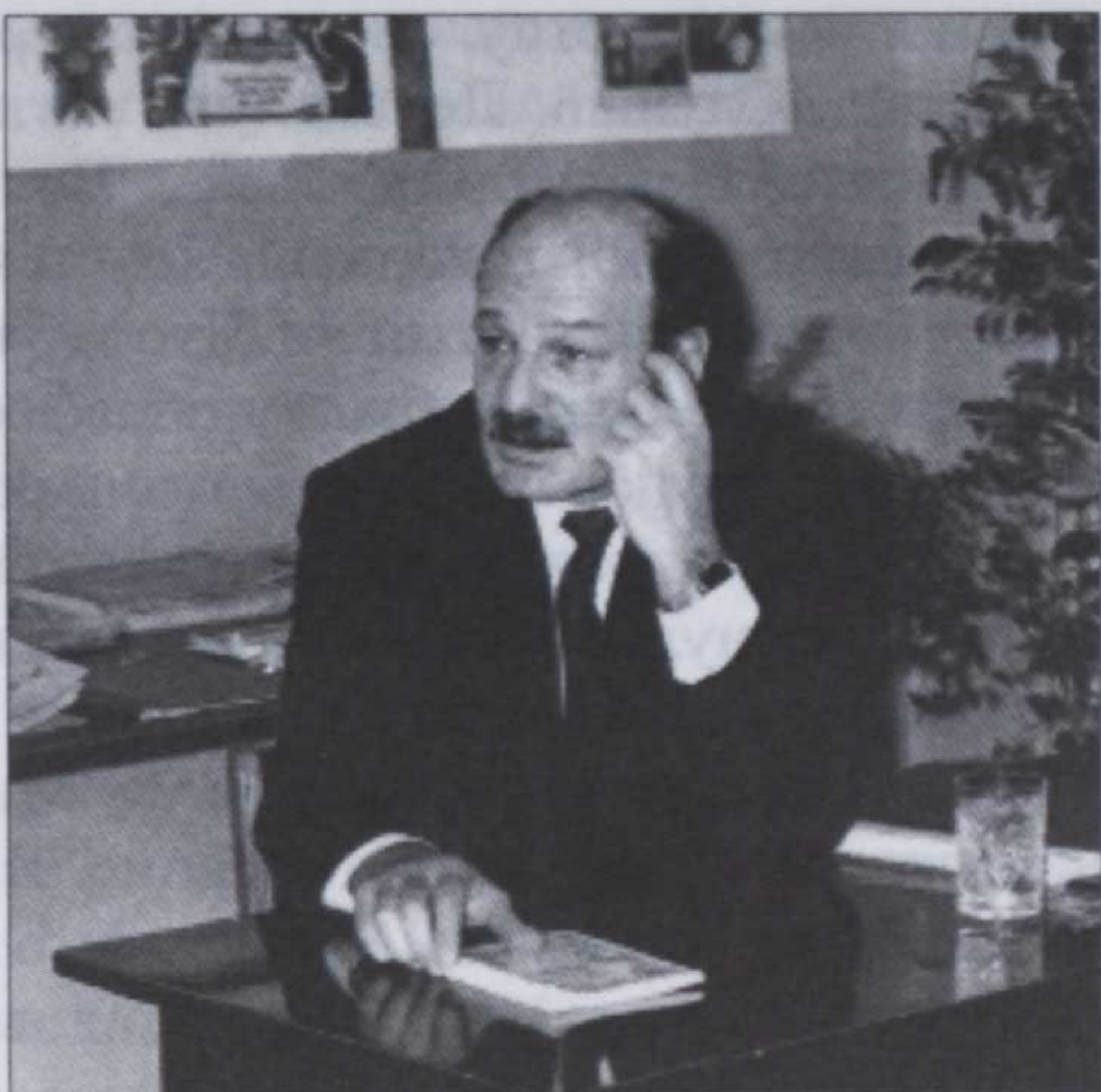
В чем в чем, но в стихах меня столкнуть с моей убежденности трудно, а в названиях я очень подвижен. Я говорю: «Ну хорошо, Ежи, а вот ты снял столько фильмов, и все они называются у тебя очень хорошо, красиво. Как бы ты назвал книжку?» — «А вот по этому стихотворению, которое у тебя тут есть, я бы ее и назвал». — А стихотворение такое... Почему меня это убедило, потому что в нем есть те мотивы, которые мне важны. Послушайте. Оно называлось «Беглец» и открывало книжку.

Из жести смастерили крупорушку
И перетерли прелое зерно,
И стало желтой кашею оно,
Веселый дух распространив на всю избушку.
Таская прошлогодние снопы
И молотя вишневым кнутовищем,
Я находил всё то, чего мы ищем
На дальних берегах неведомой тропы.
Я был романтик, Господи прости,
Такого сильного и сочного замеса,
Что мог полкрови уплатить за место,
За право в горькой гордости расти.
Я был добытчик хлеба и тепла, —
Глава семьи в свои пятнадцать с малым.
Пронизанная током страсти алым,
Светло и тяжело жизнь моя текла.
И все ж зимой, скормив корове крышу,
Потом дорезав, стельную, ее,
Я бросил дом и в лютый холод вышел,
И в мир чужой пошел через жнивье.
Я понял вдруг, что не могу спасти
Огромный нищий край, попавший в недороды.
И долго брел я поперек свободы,
Живую душу унося в горсти.

Так вот, бежать, быть беглецом, унося живую душу в горсти, с моей точки зрения, — это как раз то, что свойственно очень многим стихам этой книги. Всё может быть, всё может пропасть, но душа пропасть не должна. Ее надо уносить, даже будучи беглецом от чего бы то ни было. От всего — от нынешней действительности, от завтрашней бесперспективности — от всего живую душу надо вынести. Вот как возникло это название.

— Не хочу вам возражать, но все-таки — «беглец»... Мне кажется, что применительно к вам очень верно выражение одного из поэтов, что все мы родом из детства. Я вспоминаю ваши стихи, где описана Украина, тяготы войны, где вы рано почувствовали себя ответственным не просто за самого себя, а за семью, за других людей. Раннее взросление — это ведь определило вас на всю жизнь, как ни страшно само слово «война», да? Из детства-то вы никуда так и не убежали.

— Да, конечно. С войной у меня очень много связано и в жизни, и в стихах, естественно. Я беглец от войны? Нет, я не беглец от войны. Потому что я несу ее с собой все время — и эти времена, и всё, что там было. Что касается войны... Вы понимаете, вот сейчас со временем рождаются молодые люди, которые при слове «война» скорее вспомнят Афганистан или даже, если хотите, Чечню. А та война так глубоко где-то в истории, что кажется, её и не было. Но тем не менее на всех людях — и тех, которые рождаются и даже родятся завтра, — все равно след этой войны и этой Победы существует. Для меня это очень важно, и я об этом много пишу.



Л. А. Завальнюк на встрече
со школьниками Благовещенска
в областной детской библиотеке. 1983 г.

— Украина... Говорю это имя, а в ушах певучая речь украинская. Однако, сколько ни читал ваших стихов, не помню такого, чтобы вы применяли ее. Вы на украинском языке когда-нибудь пробовали писать? Повлияла на вас «ридна мова»?

— Очень повлияла, очень! Есть люди, которые интересуются моими стихами, которые знают поэзию хорошо, в том числе и украинскую поэзию. Они очень часто говорят, что одним из моих учителей, может быть даже главным, является Тарас Шевченко. Его поэтическая речь — чисто украинская. Сама его поэзия украинская. Она построена на украинской фонетике, на украинском синтаксисе. И у меня очень много влияний. Но на украинском языке я не пишу никогда. Дело в том, что когда я был еще мальчишкой и жил на Украине, я написал свои первые стихи почему-то по-русски. Это трудно объяснить почему, но тем не менее... Сейчас я не помню их наизусть, помню только, там были такие строчки, голодное время как раз было на Украине: «Поля зарастут бурьянами... И будет степь целиною лежать, / Ведь не зря говорил нам Некрасов: / «Учись мужика уважать...» Это значит, себя я считал мужиком, кто-то должен был меня уважать. Эти

стихи я показал отцу, он меня пожурил не как критик, а как человек близкий: «Слушай, Ленька, что ты пишешь вот: «Поля зарастут бурьянами...» Некрасов там, всё... Вот хочется тебе есть, ты голодный. Ты и напиши: «Я голодный, хочется есть...». Или еще что-нибудь. Что тебе хочется, то и пиши. Что тебя сейчас задевает, о том и пиши». И хотя это замечание было непрофессиональное, но тем не менее я старался с тех пор следовать этому совету.

По-украински я не писал до самого последнего времени. И вдруг ночью проснулся, буквально месяц тому назад, как раз у меня была другая работа: я заключил с одним издательством договор и пишу для них стихотворную «Азбуку». Мне нужно было написать как раз на какую-то букву стихотворение. Я лег, задал себе задание на ночь что-нибудь придумать. Бывает, что во сне придумываю... А проснулся я оттого, что у меня в голове какие-то украинские строчки шевелились. И вот первый раз за всю жизнь я написал стихотворение на украинском языке. Самое интересное, что последние свои стихи я отдал в журнал «Новый мир», меня попросили, и я случайно Олегу Чухонцеву, который там заведует отделом поэзии, прочел и это украинское стихотворение. Он подумал, подумал и говорит: «Надо его напечатать». Я говорю, ну как же, все будут на русском, а это... — «Ничего!» — И решили напечатать стихи не украинским шрифтом, где «и» с точкой, а в русской транскрипции. А стихотворение звучит так.

Сидаймо, друже. На столи
В мысках, у горщиках, на блюди
Ложится тэ, що добрым людям
Приємно исты на земли.
Сидаймо, друже, як бувало,
Картопля жовтый пар пуска,
Такою в вик не коштували
Ни дядько Кыив, ни Москва.
А осэлэдци, а свынына!
Так наливай — и пьем до дна
За нас, за тэ, що батькивщину
Николы вже нэ бачыть нам.

— Мне кажется, это очень интимный момент, когда в вас проснулась родная украинская речь. А это влияло на вас в зрелые годы,

когда вы стали поэтом, на стихи которого у нас в стране очень широко зазвучали песни, — украинская певучесть, музыкальность?

— Может быть, это получилось само собой. Я как-то написал однажды: «Песню нельзя сочинить, / Песни рождаются сами...» Это был рефрен моей песни. Но это хорошо в стихах говорить, что песни рождаются сами, а так, по жизни, по практике, сами песни не рождаются. Дело в том, что музыкальность у меня очень средняя. Если я пел, то лишь в компании друзей, — здесь, в Благовещенске, мы когда-то очень много пели.

— Насколько я знаю, среди них был и самодеятельный композитор, журналист «Амурской правды» Абрам Ривлин.

— Да, как раз в доме Абрама Григорьевича иногда мы пели песни с моими друзьями — Марком Гофманом и его женой Верленой. И когда я слишком громко выступал в этом хоре, Марк Либерович, как правило, меня осаживал, чтобы я потише пел, потому что я фальшивил. Но дело в том, что я музыку очень люблю. Любил то, что сочинял Ривлин, мне это очень нравилось. И в один прекрасный момент, естественно, мы сошлись, поэт и композитор. Абрам Григорьевич попросил меня написать стихи на его уже готовую музыку. Он, что называется, буквально запер меня в квартире, оставил мне схему, «рыбу» так называемую, и я написал стихи. Это была песня «Амур снарядами вспенен, / Исхлестан яростью свинца...», и так далее: «Здесь партизанский батальон / Оставил лучшего бойца». Вот так я написал свою первую в жизни песню. И потом с Ривлиным мы написали еще достаточно много песен. В дальнейшем он писал на уже готовые стихи. Потом я уехал в Москву и там продолжил это свое занятие. На Всесоюзном радио так получилось, что судьба свела меня с Юрием Саульским, с которым я написал многие свои популярные песни, во всяком случае известные.

— Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас прозвучала одна из ваших с Саульским песен. А мы тем временем отдохнем, соберемся с мыслями для продолжения беседы.

— Давайте послушаем песню, которая называется «Осенняя мелодия»: «Звучит высокая тоска, не объяснимая словами...» Ее исполняют мои друзья Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

(Звучит фонограмма песни).

Слеза, осенних дней примета,
Росой холодной потекла,

И журавли уносят лето,
Раскинув сильные крыла.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

Кружатся листья, как записки,
С какой-то грустью неземной.
Кто не терял друзей и близких,
Пусть посмеется надо мной.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

Немало мы по белу свету
В исканьях радости кружим.
Порой для слез причины нету,
Но кто не плакал, тот не жил.

И часто плачем мы невольно,
Когда дожди стучат в окно,
Не потому, что сердцу больно,
А потому, что есть оно.

Звенит высокая тоска,
Не объяснимая словами.
Я не один, пока я с вами,
Деревья, птицы, облака.

— В этой песне есть строчки: «...кто не плакал, тот не жил». Вы говорили, что мальчишкой уже мужиком, крестьянином себя чувствовали. И вдруг такое... Это что, сентиментальность, слезливость? Или поэт должен себя чувствовать обнаженным человеком? Вы никогда в скорлупу не прячетесь?

— Нет, я прячусь в скорлупу. Прячусь, как всякий человек, который живет в современном мире. Но дело в том, что скорлупа эта должна

иметь где-то открытое место. Иначе душа не выживет. Душу, которую я уносил в горсти, можно уносить куда угодно. Но если ты сплошь покрыт цистой, непробиваемой коркой, то душа не выживет, она кончится. Поэтому открытое пространство, открытое место у меня существует, как и у всякого человека. У одного оно находится, допустим, напротив селезенки или напротив почек. А у другого напротив сердца прямо. Эта открытость должна быть у каждого живого человека. И вот когда я говорил про Шевченко, вы возьмите «Кобзарь» и посмотрите: там слова «плакать», «слезы» — через каждые две страницы обязательно найдете. Это не значит, что Шевченко был слезливым. Он был человек очень крепкий, потому что прожить такую жизнь, написать такие вещи, которые он написал, — для этого нужно быть очень сильным человеком. Но и, с другой стороны, надо быть человеком очень чувствующим, очень чутким. Слезы бывают разные. Бывают слезы, когда хочешь выпросить чего-нибудь. Бывают слезы, когда просишь за что-то прощения. А бывают слезы, которые возникают оттого, что ты обращаешься к чему-то очень пронзительному, к Богу или еще кому-то, на такой ноте, когда слезы уже, кроме молитвы, ничего не обозначают.

— *То есть это не слезы-жалость, а слезы-очищение.*

— Да, совершенно верно. Это слезы, которые сопутствуют определенным высоким нравственным ощущениям.

— *Хорошо. Пока вы закуриваете, полистайте заодно книгу своих стихотворений «Беглец». Может быть, в этой тональности у вас в ней что-то такое есть, чем вы могли бы поделиться с теми, кто не читал еще, быть может, ваших стихов.*

— Да, я с удовольствием прочту. Видите ли, я, как и каждый автор, считаю, что чем позже стихи написаны, тем лучше. Поэтому я не буду держать себя в узде, прочту из последних... (Листает книгу, находит нужное).

Бедное, богатое, больное,

Бездну под покатою луною,

Берег, оползающий к воде,

Крик ночного мальчика-провидца,

Морды ветров и лошажьих лица, —

И не прячьте, я найду везде.

Бедное, богатое, больное!..

В беглой тундре, в африканском зное,

В диких мегаполисных морях
Я всегда найду, пока с судьбы не сбился,
Тот единственный пейзаж,
С которым я родился
И который крест,
И жизнь,
И родина моя.

— Как случилось, что вы, человек, который пишет стихи всю свою жизнь, который так тонко и глубоко чувствует лирическую струю, хотя и писал баллады, ощутили потребность писать и прозу? С годами вы обратились к этому большому и многотрудному жанру. Помните у Пушкина: «Когда, склоняясь на долгие моления...»? Это ведь не столько эротика, сколько стихи о творчестве. Почему и как у вас это произошло? Не всё вам удавалось выговорить в лирической канве?

— Дело в том, что я занимался разными вещами в своей жизни. Кроме того, что я пишу стихи, я еще рисую картины. Писал песни — это совсем другая профессия. К прозе я пришел вполне естественным путем. Вы правильно сказали, у меня есть много сюжетных стихотворений. Они могут называться балладами, могут еще как-то называться. Но, во всяком случае, они сюжетные. В них диалоги существуют, зачатки характеров. Желание прикоснуться к каким-то вещам, которые лежат за гранью поэтической строки, у меня было всегда. И я вышел в прозу. Первый раз я написал маленькую повестушку, это было очень давно, она называлась «На полустанке». Её вряд ли кто уже помнит или видел.

— А я помню, мальчишкой читал вашу «Лирическую повесть». Хотя иногда путаюсь и называю ее «Сентиментальная повесть».

— Да, это потому, что она действительно сентиментальная по духу. Это была моя вторая повесть. Ну а потом я написал «Дневник Родьки — трудного человека». Как это было, почему это было, сейчас я не могу даже вспомнить. Но вот однажды во мне какие-то характеры забарахтались, и мне захотелось, может быть, пьесу написать, может быть еще что-то. Диалоги какие-то пошли, которые я внутренне слышал. И так вышло, что я начал писать повесть.

— Есть такое понятие — «длинное дыхание», долгое дыхание. Лириков почему-то со спринтерами сравнивают. Вот он рванулся со старта, добежал до финиша за десять секунд — и всё, выдохся,

сказал всё, что хотел. Где вы запасали терпения, сил и здоровья для этого долгого дыхания?

— Видите ли, долгое дыхание — это вещь относительная. Вот вы говорите: лирика — это спринт. Пробежал стометровку — и всё. У меня есть стихи, которые я писал по месяцу, по два, и потом еще к ним возвращался и дописывал. Поэтому о моем коротком дыхании говорить трудно. Хотя стихотворение само по себе сочинение короткое, но дыхания оно требует достаточно долгого. Что же касается долгого дыхания в прозе, то я не знаю как у других писателей, очевидно, у всех по-разному, но для меня каждый кусок повести, каждая глава, эпизод — это вещь самостоятельная, и она не требует особо долгого дыхания. Так вот, я наберу воздуха в легкие (смеется), напишу эту главу, а потом передохну и принимаюсь за следующую. Вы понимаете, долгое дыхание — это, как мне представляется, «Тихий Дон». Вот там уж действительно такое долгое дыхание! Или «Война и мир».

— Но это эпопеи.

— Да, конечно. Но я никогда не замахивался на такие полотна, потому что «Дневник Родьки — трудного человека» — это тоже лирическое сочинение, если так разобраться. Да и первые мои повести тоже лирические. Поэтому я прозаик, можно сказать, относительный.

— Поэтому, чтобы не затягивать дальше теоретизирование на эту тему, давайте почитаем дальше стихотворения, которые у вас помечены «галочками» в книге «Беглец».

— Давайте.

Не время знать, молчит благая весть.

Не время зреть, погасли озаренья.

Но время звать: «О свет, родивший зренье,

Явись, ты где?»

И звон тоски: «Я здесь».

И вот свинцовая вода.

Тонуть бы, но плыву.

Ах, что за сны!

Плыву я, как летаю, —

И в вечный мрак, и сквозь.

И в искрах звезд читаю:

«Не время жить еще, но время петь».

Живу!

«Так пой же, пой!»

Тупая боль пуста.

«Надежду пой, иначе день не загорится.

Что ныне ты накличешь, то и сотворится.

Нелепо, слепо, безответно пой, но не смыкай уста».

— *Вот это желание петь... С годами оно не проходит? Время всегда диктует нам свои условия, как бы мы ни желали задержаться в каком-либо жизненном периоде, пусть даже и самом плодотворном. А если это действительно так, то в чем преимущество вашего возраста?*

— Мне шестьдесят семь лет. Свой возраст я ощущаю слабо. Только когда бреюсь и смотрю в зеркало, тогда я понимаю свой возраст и всякое такое... Допустим, прелесть преклонных лет, и даже старости, заключается в том, что пройден большой путь, и это всё с тобой, оно с тобой существует. И дни, недели, и вообще течение времени воспринимается совершенно по-другому. Оно плотнее, глубже, интереснее, потому что, так или иначе, оно сдобрено всем тем, что ты уже прожил. И каждый человек, с которым ты встречаешься, для тебя, с одной стороны, чистая доска, абсолютно непонятное нечто, с которым ты сталкиваешься. А с другой стороны, когда ты с ним ближе сходишься, начинаешь ощущать в нем то, что ты уже встречал и знал когда-то. Возвращаются люди, которые похожи чем-то на этого человека. И хотя ты и существо одинокое, как и всякий поэт, но ты оказываешься в окружении очень близких и родных тебе людей и нужных. Это очень важное качество, я думаю. Может, оно присуще всем, а может только некоторым людям, я не берусь судить. Я просто говорю о себе.

— *Помните, у Блока есть такое парадоксальное, острое, прямо бьющее в сердце восклицание: «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда...»?*

— Да, есть такое. Но я не знаю... У Блока одни ощущения, у меня другие ощущения. У меня нет такого чувства, что мои книги надо выбросить или я их никогда не писал. Но иногда, когда я возвращаюсь к тому, что написал очень давно, мне кажется, что это не я писал. При том что я остаюсь самим собой, какой я есть и был всегда, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, человек не может не меняться. И то, что написано тридцать-сорок лет тому назад, иногда мне кажется написанным чужой рукой. Действительно, как будто это я никогда не писал. Я не знаю, это ли хотел сказать Блок или другое. Я говорю так, как мне чувствуется.

— У вас есть стихи, которые вы носили годами строчкой одной или даже одним словом, или даже просто интонацией какой-то? Вы чувствовали, что в этом зародыше есть стихотворение?

— Было, да. Долгое время у меня существовали строчки: «Ой, как нынче зажили на Руси! Умирают заживо на Руси...» И всё. Казалось бы, ну что тут такого? Ничего нету. Но лично мне в этом что-то чувствовалось и виделось. И я никак не мог выбросить это из головы. То есть я оставлял эти строчки, потом опять к ним возвращался, и снова бросал. Так в конце концов я ничего и не выудил из этого окончательно. Но в итоге получилось такое стихотворение.

Ой, как ныне зажили на Руси!

Умирают заживо на Руси.

Почернели дочерна те края.

С нами крестная сила,

Господи, пронеси!

Господи, спаси люди твоя

И помилуй!

Денно и ночью бьют колокола.

День и ночь, день и ночь

Колья тешутся.

Хоть шаром покати —

Ни кола, ни двора,

Негде жить,

Негде пить,

Негде вешаться.

Вот такие стихи... Были и еще другие вещи, которые я сейчас вот так с ходу, может быть, и не вспомню. Но были, были строчки. Помню, долго мне не давало спать и спокойно себя чувствовать такое вот: «И выпало два снега в этот день. Два белых снега — первый и последний...» Но в конце концов кончилось тем, что я написал песню, где был такой рефрен: «И выпало два снега... И выпало две песни в этот день...» Музыку написал Саульский.

(Звучит песня «Два белых снега»).

Ломилась в окна звёздная сирень,

Висела ночь на тонкой нитке звука.

Мне выпало две песни в этот день —
В одной свидание, а в другой разлука.

Венок Луны, надетый набекрень,
И Млечный Путь, сброшенный на плечи.

Мне выпало два ветра в этот день —
Один попутный, а другой навстречу.

И ночь ушла, и канула, как тень,
Горел рассвет, неповторимо летний.

И выпало два снега в этот день,
Два белых снега — первый и последний.

— У меня в руках еще один ваш сборник стихотворений из тех, что я принес из дома. Он называется «Листопад». А я помню песню о листопаде, как «черноглазая москвичка загляделась» на автора. Это стихотворение рождалось с предощущением быть песней? «Осторожно, осторожно, осторожно — листопад!» — откуда этот рефрен?

— Дело в том, что я тогда учился в Литературном институте. Вначале я был в семинаре Павла Антокольского, а потом перешел в семинар ко Льву Ошанину, который известен всем как автор многих интересных, замечательных песен. Поэтому и нам он много о песне толковал. Однажды он сказал: «К следующему семинару попробуйте написать песню о Москве». Ну, к Москве у меня было очень сдержанное чувство в те времена, я не чувствовал себя московским человеком. И вообще мне казалось, что большой город не очень подходящее место для жизни и написания стихов. Я не мог написать стихи о Москве как о Москве. И вот, поскольку осень была тогда, я написал свой «Листопад».

Я не видел, я не знаю
Замечательней поры.
Осень пала золотая
На московские дворы.
Не заметить невозможно,
Всюду надписи висят:
«Осторожно! Осторожно!
Осторожно — листопад!»

Потом прошло какое-то время, долгое довольно. Я давал стихотворение кому-то из композиторов, никто ничего не написал. И уже совсем недавно где-то я выступал, не помню где, в каком-то институте. И в ответ на мое выступление вышли две студентки и спели песню «Осторожно, листопад» Я говорю: откуда, что это? Они отвечают: «Это наша институтская песня. Уже на протяжении многих-многих лет она передается от одного поколения к другому». А кто музыку написал? Говорят: «Вот одна дама написала музыку, когда-то она у нас преподавала. С тех пор песня и существует».

— Леонид Андреевич, в этот раз вы приехали в Благовещенск зимой, хотя делали это раньше весной или осенью. Я вижу перед вами рукописи. Наступил новый период в вашем творчестве — зимний, да?

— Процесс познания языка бесконечен, огромен и разнообразен. Он не зависит от времен года напрямую. Вот, кажется, ты уже всё знаешь. Но это ты с одной стороны подошел к языку. Можно еще подойти с другой, третьей, четвертой... Могу в подтверждение этой мысли привести стихотворение, называется «Тундра».

Каменная статуя сидела

На пустынном берегу морском

И пустыми дырками глядела,

Как глядит гроза перед броском.

А когда от черного причала

Беглая звезда оторвалась,

Ставши в рост, она так страшно закричала,

Что из крика птица родилась.

Жизнь близка, но и не жизнь близка мне

С той поры, как я не ведаю границ

Меж моей землей и той, где обитают камни —

Камни, извергающие птиц.

— Вам не навязли в зубах некие «литературные обоймы», которые составляют литературоведы, журналисты, люди, занимающиеся библиотечным делом? У вас есть своя «обойма», или, если попроще сказать, круг людей, которые вам дороги, близки, без которых Завальнюк не был бы Завальнюком?

— Ни в какие «обоймы» я никогда не входил. В предисловии к книжке «Листопад» Александр Межиров написал, что Завальнюк всегда был сам по себе, ни в какие «обоймы» он не входил. Хоро-



Л. А. Завальнюк в гостях у студентов и преподавателей БГПУ. 2004 г.

шо это или плохо, никто не знает... Так оно и есть на самом деле. Я абсолютный одиночка. И если есть люди, которые влияют на меня и оказывают воздействие на то, чем я занимаюсь, то они, как правило, не поэты и не писатели, и не художники. Человек, который оказал на меня огромное воздействие и продолжает оказывать, это Марк Либерович Гофман, с которым мы

знакомы уже больше сорока лет. Это не значит, что абсолютно всегда я согласен с тем, как он понимает то или иное поэтическое явление. У нас очень много расхождений. Но тем не менее у него очень высокие художественные критерии, хорошее знание поэзии, литературы. И не только русской, но и украинской в том числе, потому что он киевлянин, украинский язык прекрасно знает. У меня есть стихи, я их цитирую иногда при случае. Повторю еще раз: «Где дом друзей, там родина моя». Я ведь не благовещенский человек, я с Украины. А здесь я служил в армии, здесь познакомился с Марком. Здесь вышла моя первая книжка. И так получилось, что и он, и я очень привязаны к этому краю. Но если бы не было здесь Гофмана, мне было бы трудно сюда приезжать. А так у меня два позыва: с одной стороны, это земля, к которой я привязан, и, с другой стороны, этот человек, который очень влияет на всё, что я делаю. С моей точки зрения, влияние это незаменимое.

— На подходе к семидесятилетнему рубежу вы перечитываете кумиров вашей юности, молодости? Допустим, того же Пушкина, Лермонтова. Они что-то вам говорят сейчас, возбуждают прежние чувства? Или вы, став им по паспорту дедушкой, уже не зажигаетесь от их стихов?

— Я хотел бы прочесть стихотворение, которое написал совсем недавно. Оно, я думаю, отвечает на этот вопрос. Эпиграф — «Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом. / Лермонтов».

О рыцари святого войска,
Ловцы небесного огня!
Стихи молитвенного свойства,
Сто раз спасали вы меня.
И я твержу себе и миру:
Так было, есть и будет впредь:
Пришедший к Богу бросит лиру,
Идущий к Богу должен петь.
Поэт глупец, поэт невежда,
Но он умен тем, что поэт.
В поющем мире есть надежда,
А в не поющем мире нет.
А в не поющем мире пусто,
И он гудит, как сухостой.
Спаси меня, седьмое чувство,
Седьмая раса, день шестой!
И вот тогда родятся строки,
Простые, как вершины гор:
«Белеет парус одинокий...»;
«Роняет лес багряный свой убор.
Сребрит мороз увянувшее поле.
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружающих гор».

— Невольно вспоминается призыв Пушкина «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...»? Как вы соотносите этот призыв с тем, что делаете в литературе? Озарение мудрости уступало место смелой догадке?

— Могу прочесть свое стихотворение, которое называется «Пророка жду». Я только и делаю, что жду пророка. Считаю, этой миссии тоже может быть достаточно.

Перезимуем, брат, и это всё осилим.

Отыщем искру в каменной зиме.

Всё в мире есть, но нет другой России,

А без России пусто на земле.

Пророка жду.

Бог в помощь, говори.

Пророка жду, он легких слов не скажет.

Он мертвых всех простит, и всех живых отвяжет,
Равно от мрака вечного и от пустой зари.
И понесутся люди кто куда!
Одни побегом волчьей,
Другие конским скоком.
«Живите, — скажет, — врозь.
Не лезьте в небо скопом,
И даже по двое не лезьте вы туда».
Притом что Бог один, у каждого свой Бог.
И там, где жизнь чиста и беспредельна,
Любящие живут отнюдь не параллельно,
Поскольку близость есть скрещение дорог.
Вот в чем печаль любви, высокая печаль!
Стремясь унять её, мы даль свою растлили.
Любящий, скажем, Русь
Живет не вдоль, а поперек России.
Он, только он, несет её надежды на плечах.
Пророка жду.
Годами в ожиданье,
Что скажет он, как скажет он и где?
В кровящей родине моей,
В земле ли чуждедальной
Иль на суровой крохотной звезде,
Что снится мне ночами иногда?
Ты кто? Ты смерть моя?
«Нет, я твоя звезда».

— *Перед вами, я вижу, лежит рукопись. Очевидно, это рукопись вашей новой книжки? Вы не боитесь говорить о своих планах?*

— Нет, я о планах говорить совершенно не боюсь. Не знаю, что это: книжка или что-то иное. Передо мной лежат две рукописи, которые я взял с собой, чтобы работать. На одной папке написано: «Год 95–96-й». На другой папке написано: «Год 97-й». Это стихи, которые написаны в обозначенные годы. За последние восемь-десять лет я написал очень много стихов. Мне хотелось бы издать книжку новых стихов. Но не меньше мне хотелось бы издать, особенно здесь, в Благовещенске или на Дальнем Востоке, книжку, которая бы здесь существовала, в которой были бы объединены стихи разных лет.

Кроме того, чтобы там была бы поэма «Осень в Благовещенске». Предполагаю вообще назвать книжку «Осень в Благовещенске», если она получится у меня и будет выходить. Чтоб там был «Дневник Родьки...» и, может быть, «Лирическая повесть».

— Леонид Андреевич, у меня есть просьба к вам. Я очень хочу, чтобы вы ее выполнили. Мы мальчишками-старшеклассниками в Тамбовке — закоперщиком у нас был Толя Дробязкин, который, к сожалению, рано ушел из жизни, Толя Деревянко, ныне академик, известный археолог, и я — однажды в «Литературной газете» как откровение прочитали ваше стихотворение «Снова стихами повеяло...». Мне кажется, это стихи почти обо всем, и о любви в том числе, потому что там есть резонанс есенинский — «...у этой калитки вам было шестнадцать лет». И я мечтал, чтобы вы прочитали мне, а значит, и амурам, это стихотворение. Вас не затруднит эта просьба?

— Да, я, конечно, прочту. Хотя этому стихотворению уже около сорока лет, а может быть, даже больше. Но я его помню и время от времени читаю. И сейчас, если не буду сбиваться, я его прочту.

Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы.
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог, —
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.
Неужто вы не заметили,
Как, погасив огоньки,
Вечер уходит медленный
По мостовой реки,
Как падает ночь на гравий
С первой каплей дождя?..
Зачем же вы молодость грабите,
Мимо стихов идя?
Когда ничего еще не было,
Строкой пробив тишину,
Поэты открыли небо,
Поэты открыли весну.

Поэты оставили песни,
На ярком огне прожив,
Ни почестей громких, ни пенсий
Под старость не заслужив.
Они прошли великанами,
Покой обретая в бою.
Они отцвели и канули,
Оставив душу свою.
И, кровью сердца окрашенный,
Горит их высокий стих!..
Мне жалко молодость вашу,
Идущую мимо них.
Чуть качнув на рессорах,
Время мелькнет, как тень,
И где-то лет через сорок
Вернется забытый день.
И вновь драгоценным слитком
Сверкнет этих строчек свет, —
Подумать: у этой калитки
Вам было шестнадцать лет!..
И снова закат весенний
Раскинет свое крыло!
Мне жалко, что ваше веселье
Мимо стихов прошло.
Тучи — стадо овечье,
Дальних дорог гудки...
Уходит медленный вечер
По влажным сваям реки.
Последний отблеск играет,
За горизонт уходя,
И падает ночь на гравий
В синей капле дождя.

— В этом стихотворении есть строчка «И где-то лет через сорок...». Вы сказали, что этому стихотворению как раз столько лет. У вас нет такого ощущения, что иногда что-то повторяется в этой жизни?

— Я могу прочесть, если вы хотите, об этом.

Малина солнцем облита.
Девчонка плачет у калитки,
И след слезы, как след улитки
На черной зелени листа.
Откуда всё?
Откуда цвет?
Откуда я?
Откуда это —
Картинка, виденная где-то?
Не знаю я — утерян след.
Листаю прошлые года.
Всё это было, но когда?!
Но это было.
Так же день
Струился с вербы в лог зеленый,
И сосны смолкой раскаленной
Пятнали собственную сень.
И так же брел старик седой,
Подслеповато глядя в небо.
И так же пахло желтым хлебом
И черной жабьей водой.
Всё это было — суетня
Стрекоз над зеленью болота...
А может, не было? И кто-то
Всё это помнит за меня.
А может, словно за межой,
Любой из нас живет чужой,
За нашей памятью, за снами,
Что было с ним, то было с нами.
И это помним мы душой.
Не потому ль так странен раж
В миг озаренья нелюдимый,
Когда, чужой рукой водимый,
Выводит строчки карандаш.
И, удивляясь их красе,
Душа все дни свои итожит,
Чтоб слиться с тем, что знают все,
Но осознать никто не может.

— Поскольку эта программа последняя в уходящем году, чего бы вы хотели пожелать землякам? Вы амурцев по-прежнему считаете земляками?

— Безусловно, амурцев считаю своими земляками всегда и везде, где бы я ни был. Это ощущаю и в Москве сидя, и здесь, в Благовещенске. А пожелать могу только того же, что я могу пожелать самому себе: чтобы жизнь продолжалась, чтоб не прервалась она. И чтобы все те ямы и колдобины, все те бездны, которые нам встречаются на пути, были явлением сугубо временным. Желаю всем оптимизма, потому что оптимизма сейчас очень не хватает, а я так думаю, что это чувство не только греет душу и успокаивает, не только дает надежду, но еще и движет то хорошее, что должно расти и умножаться в нашей жизни.

— Благодарю вас, Леонид Андреевич! Мне бы хотелось, чтобы ваша поэзия жила постоянно. Дай Бог вам здоровья, творческого настроения! Всего самого-самого доброго! Спасибо вам!

— Спасибо вам за то, что дали мне возможность пообщаться с моими земляками. Я очень рад. До новых встреч!

Послесловие. Через несколько лет, в 2001 году, издательство АмГУ выпустило книгу избранных стихотворений Завальнюка с его же рисунками. Назвал ее автор более чем просто — «Стихи». Задуманное первоначально название «Осень в Благовещенске» осталось только лишь в нашем интервью. Более того, помещенная в книге давнишняя поэма, датированная 1966 годом, переименована в «Осень на Амуре». Ну что ж, у поэтов это иногда случается. Могу предположить, что автор хотел словно бы расширить географически само понятие «осень», лишив тем самым его городской локализации. Незначительная правка в тексте поэмы вряд ли была главной тому причиной, поскольку суть произведения осталась неизменной. Примечательно, что через семь лет после этого у нас все же была напечатана книга «Осень в Благовещенске» с включенной в нее оригинальной одноименной поэмой. И сделал это другой поэт, отлично владеющий и пером, и кистью, Николай Левченко. Завальнюк словно бы дал ему на это «добро» своей книгой.

Все официальные справочники, в том числе и интернетовские, указывают одну и ту же дату рождения Леонида Завальнюка — 20 октября 1931 года. Но в нашей беседе Леонид Андреевич определенно указывает свой возраст — шестьдесят семь лет. И это не оговорка,



За столом с друзьями в Благовещенске.
Слева направо: Леонид Андреевич Завальнюк,
Верлена Львовна Фраер, Юлий Маркович
Гофман, Марк Либерович Гофман, Владислав
Григорьевич Лецик. Апрель 2004 г.

ибо паспортные данные людей старшего поколения, особенно связанные с хаосом военных и послевоенных лет, зачастую пестрят подобного рода смещениями. Особого криминала в этом и нет, но я склонен все же поверить на слово своему собеседнику.

Поздние стихи Завальнюка всё больше и больше утрачивают первоначальную свежесть дыхания и конкретность поэтических деталей, всё чаще в них властвует метафизика. Это мое субъективное

восприятие, в подтверждение которого укажу лишь на строчки из стихотворения «О рыцари святого войска...», в которых автор задает читателю некую почти масонскую загадку, требующую расшифровки: «Спаси меня, седьмое чувство, / Седьмая раса, день шестой!..» Оставляю разрешение загадки на усмотрение читателей, но для стартового «рывка» рискну предположить, что «седьмое чувство» — это не что иное, как интуиция. С «седьмой расой» и «днем шестым» разбейтесь сами.

И в завершение о грустном и неизбежном. О смерти, которую поэты прозревают в довольно ранние годы, когда еще полны сил и желания жить. *Memento mori* — сказано латинянами давно и мудро. А Завальнюк не зря всегда слыл мудрым человеком. В стихотворении «Осенний плач», в самом его начале, появляется эта доминанта: «Немало я по белу свету / В исканьях радости кружил. / Не надо плакать, смерти нету! / Но кто не плакал — тот не жил...». Когда рождалась песня на эти стихи «Осенняя мелодия», текст претерпел вполне понятные изменения. Первая строфа стихотворения ушла из начала и стала пятым куплетом песни — «Немало мы по белу свету / В исканьях радости кружим. / Порой для слез причины нету, / Но кто не

плакал, тот не жил». Прилагательное «осенний» осталось в названии, но слово «плач» сменила вполне лирическая и расхоже-нейтральная «мелодия». Композиторы, а в данном случае это был Юрий Саульский, чутче поэтов улавливают рыночную конъюнктуру. Любой редсовет придрался бы к «упадочничеству» исходного текста. Да и зачем двум авторам ставить под сомнение грядущие отчисления от проката песни, которая обещала стать шлягером? И песня стала популярной, кроме Рузавиной и Таюшева ее пела и легендарная София Ротару, а это уже гарантия успеха.

Когда 7 декабря 2010 года Леонид Завальнюк скончался, эта весть больно ранила сердца поклонников его творчества. Невосполнимость утраты коснулась и амурских писателей, которые в той или иной мере были знакомы со своим знаменитым земляком. И когда я писал некролог для газеты «Амурская правда», мне вспомнились почему-то и песня, и стихи Завальнюка, но выбор пал на строчки «Осеннего плача». Именно в них поэт был по-настоящему искренним и открытым. Не каждому это удастся при жизни, а уж тем более после смерти, которой «нету»...

«Вечерний канал» Амурского радио, 23 декабря 1997;

радиопрограмма «Стезя», № 105, 26 декабря 1997;

литературный альманах «Амур» БГПУ № 10, 2011.